

Роберт Стивенсон

Олалья



Роберт Льюис Стивенсон

Олалья

«Public Domain»

1885

Стивенсон Р.

Олалья / Р. Стивенсон — «Public Domain», 1885

«— Ну-с, а теперь, — сказал доктор, — моя роль окончена. Я свое дело сделал и могу сказать не без некоторой гордости, сделано оно хорошо. Теперь остается только выпроводить вас и этого холодного и зловредного города и предоставить вам месяца два отдыха где-нибудь на чистом воздухе со спокойной совестью и без всяких забот. Последнее, конечно, всецело ваше дело, но что касается первого, то мне кажется, что я мог бы вам это предоставить. Вышло это, можно сказать, довольно странно; всего только несколько дней тому назад Padre приезжает ко мне из деревни, и хотя мы с ним люди различных профессий, мы тем не менее добрые старые друзья, и он обратился ко мне, прося помочь чем-нибудь одной сильно нуждающейся семье из его прихожан. Это семья... впрочем, ведь вы совершенно незнакомы с Испанией, и даже самые громкие имена наших грандов вам ровно ничего не скажут, а потому достаточно, если я вам скажу, что некогда они были великими мира сего, а теперь находятся на краю падения и не только полного разорения, но даже нищеты...»

Роберт Стивенсон

Олалья

* * *

– Ну-с, а теперь, – сказал доктор, – моя роль окончена. Я свое дело сделал и могу сказать не без некоторой гордости, сделано оно хорошо. Теперь остается только выпроводить вас и этого холодного и зловредного города и предоставить вам месяца два отдыха где-нибудь на чистом воздухе со спокойной совестью и без всяких забот. Последнее, конечно, всецело ваше дело, но что касается первого, то мне кажется, что я мог бы вам это предоставить. Вышло это, можно сказать, довольно странно; всего только несколько дней тому назад Padre приезжает ко мне из деревни, и хотя мы с ним люди различных профессий, мы тем не менее добрые старые друзья, и он обратился ко мне, прося помочь чем-нибудь одной сильно нуждающейся семье из его прихожан. Это семья... впрочем, ведь вы совершенно незнакомы с Испанией, и даже самые громкие имена наших грандов вам ровно ничего не скажут, а потому достаточно, если я вам скажу, что некогда они были великими мира сего, а теперь находятся на краю падения и не только полного разорения, но даже нищеты. Теперь от всех их прежних поместий, дворцов и сокровищ остались лишь последние крохи; им принадлежит только «residencia», то есть сама усадьба из бывшего родового поместья и небольшой клочок, в несколько сот десятин, совершенно бесплодной, ни на что не пригодной земли, высоко в горах, где даже козе прокормиться нечем. Но сам дом, так называемая «ресиденсия», – прекрасное, величественное старинное здание, великолепно расположенное на весьма значительной высоте среди живописных гор и холмов в превосходной, здоровой местности. Как только я услышал все это от моего приятеля Padre, я тотчас же подумал о вас. Я сказал ему, что у меня на попечении находится раненый офицер, сражавшийся за правое дело, который теперь пошел на поправку и нуждается в перемене климата, и я предложил ему, чтобы его нуждающиеся друзья приняли вас в качестве жильца на некоторое время. Лицо моего доброго патера тотчас же нахмурилось, как я это, впрочем, предвидел заранее.

– Об этом не может быть и речи! – сказал он.

– Ну, так пусть они себе помирают с голода со своим чванством, – ответил я, – потому что, как вам известно, я не сочувствую гордости бедняков. По одежке протягивай ножки – вот мое правило.

На этом мы и расстались, на этот раз не совсем довольные друг другом. Но вчера он опять зашел ко мне и, к великому моему удивлению, сказал мне, что затруднения оказались не столь велики, как он предполагал, и что дело может уладиться; иначе говоря, эти гордецы припрятали свою гордость в карман до более удобного случая. Я тут же и покончил с ним и, рассчитывая на ваше согласие, занял для вас пару комнат в «ресиденсии». Горный воздух восстановит, несомненно, ваши силы, а тишина и спокойствие, которые вы там найдете, будут для вас полезнее всяких лекарств.

– Доктор, – сказал я, – вы все время были моим добрым гением, а потому ваш совет равносильен для меня предписанию. Но расскажите мне, ради Бога, если можете, что-нибудь об этой семье, в которой мне теперь придется жить.

– Я только что собирался это сделать, – ответил доктор, – тем более, что тут есть одно маленькое затруднение, которое, я боюсь, смутит вас. Эти нищие, видите ли, как я уже говорил вам, принадлежат по своему происхождению к очень высокому роду и поэтому преисполнены самой нелепой, ни на чем не основанной гордости; они вот уже несколько поколений живут в страшном уединении вследствие своего разорения. Знатных и богатых они сторонятся, потому

что те стоят теперь как бы выше их, и им за ними не угнаться, а бедных они сторонятся потому, что те им кажутся слишком низкими для них, и даже теперь, когда бедность довела их до необходимости раскрыть двери своего дома гостю, они не могут решиться на это без в высшей степени неделикатной оговорки или условия, а именно, чтобы вы оставались совершенно посторонним для них человеком. Они, конечно, будут заботиться о том, чтобы вы имели все для вас необходимое, но уже вперед просят вас отказаться от всякой мысли о возможности какого бы то ни было сближения с ними.

Не стану скрывать, что в первый момент я почувствовал себя несколько обиженным такого рода условием, но, быть может, это самое чувство возбудило во мне желание поехать в этот дом, в надежде, что мне удастся сломить эту преграду, воздвигнутую гордостью этих людей, если я только захочу.

– В сущности, – сказал я, – в этом их условии нет ничего обидного; я даже симпатизирую тому чувству, которое могло внушить им такое желание.

– Правда, что ведь они вас не знают и никогда не видели, – вежливо заметил доктор, – и если бы они знали, что вы самый красивый, милый и приятный человек, который когда-либо приезжал сюда из Англии, где, как я слышал, много красивых мужчин, но не так много милых и приятных, как вы, я уверен, что они приняли бы вас с большим радушием. Но раз вы с этим так хорошо миритесь, то говорить не о чем! Мне это кажется весьма нелюбезным, но, быть может, вы от этого только выиграете. Семья эта едва ли прельстит вас; она состоит из матери семейства, сына и дочери. Старуха, говорят, почти полоумная, сын просто деревенский парень с большими претензиями, а дочь деревенская девица, выросшая на свободе, как сорная трава, и всецело подпавшая под влияние своего духовника, что может служить доказательством того, что она, вероятно, весьма недалекая. Так вы видите, что здесь едва ли найдется, чем пленить воображение такого блестящего молодого офицера.

– А между тем вы говорите, что это люди высокого происхождения, принадлежащие к старой родовой аристократии? – заметил я.

– Ну, что касается этого, то тут следует сделать маленькую оговорку, – заметил доктор. – Мать, точно, может считать себя родовитой аристократкой, но дети не совсем так. Дело в том, что мать – последняя представительница старого княжеского рода, выродившегося и ооедневшего. Отец ее был не только беден, но и безумен; дочь этого помешанного аристократа до самой его смерти бегала по усадьбе без всякого призора, как простая деревенская девчонка, а после его смерти, когда ушли и последние крохи бедного достатка и вся эта родовитая семья, за исключением одной ее, вымерла, девчонка эта осталась совсем без присмотра и наконец добегалась до того, что вышла замуж не то за какого-то погонщика мулов, не то за контрабандиста, словом, одному Богу известно за какого проходимца! Некоторые утверждают даже, что она вовсе ни за кого замуж не выходила, и что Филипп и Олалья ее незаконные ублюдки, прижитые ею неизвестно с кем. Брак этот, был ли он законный или незаконный, о чем одному Богу известно, окончился трагической развязкой несколько лет тому назад. Но семья эта живет так замкнуто, так недоступно, да и, кроме того, здесь в стране в эту пору царили такие смуты и беспорядки, что никто не может с уверенностью сказать, как именно кончил жизнь этот человек, и кто или что было причиной его внезапной смерти. Знает об этом, может быть, один только падре, да и то еще трудно сказать, знает ли и он.

– Я начинаю думать, что мне предстоит испытать там много интересного, – сказал я.

– На вашем месте я не стал бы заранее создавать романтические фантазии, – промолвил доктор, – потому что я боюсь, что вы наткнетесь на самую будничную и даже довольно грубую действительность. Филиппа этого я видел, и что мне вам сказать о нем? На мой взгляд, это просто глуповатый, простоватый деревенский парень, очень лукавый и скрытный и вместе с тем наивный. Вероятно, и остальные члены семьи в том же духе. Нет, сеньор команданте, подходящее для себя общество вы должны искать не у этих людей, а среди благородных красот

природы, наших величественных и живописных гор, и если вы вообще любите красоту природы, то я могу вам поручиться, что в этом отношении вы не разочаруетесь!

На другой день за мной приехал Филипп на простой деревенской тележке, запряженной мулом. Незадолго до полудня, простившись с моим милым доктором, с хозяином гостиницы, где я жил, и еще кое с кем из добрых людей, обласкавших меня и ухаживавших за мной во время моей болезни, мы выехали из города через восточные ворота и стали подыматься на Сиерру. Я так давно не дышал свежим воздухом и вообще не выходил из своей комнаты с тех самых пор, как, потеряв сопровождавший меня конвой, был оставлен умирающим на произвол судьбы, что теперь даже самый запах земли приятно опьянял меня и вызывал у меня улыбку умиления. Местность, по которой мы ехали, была дикая, скалистая, местами поросшая старым лесом то пробковых деревьев, то громадных развесистых испанских каштанов; во многих местах лес пересекали шумливые горные потоки и светлые ручьи с темным каменистым руслом. Солнце ярко светило на небе, ветерок весело шелестел кругом; мы отъехали несколько миль от города, который теперь казался незначительным комочком, лежащим там, в долине, позади нас, когда я впервые обратил свое внимание на своего спутника. С виду он действительно казался сравнительно малорослым, хорошо сложенным, но неотесанным деревенским парнем, именно таким, каким его мне описывал доктор; очень проворный, деятельный, подвижный и ловкий, но совершенно некультурный; и это первое впечатление, очевидно, для большинства оставалось окончательным. Меня с самого начала поразили его развязность и фамильярность и его удивительная болтливость, столь явно не вязавшиеся с теми условиями, на каких эти люди соглашались принять меня в свой дом. Говорил он бессвязно, непоследовательно, перескакивая с предмета на предмет, так что за его речью с трудом можно было следить без особого усилия мысли. Мне и раньше приходилось разговаривать с людьми, стоящими приблизительно на одном с ним уровне развития и образованности, с людьми, которые, по-видимому, жили прежде всего своими внешними впечатлениями, как это делал и он, которых сразу захватывает какой-нибудь видимый предмет до такой степени, что у них является потребность сию же минуту высказать кому-нибудь зародившееся в их мозгу впечатление или мимолетную мысль, с тем, чтобы тотчас же поддаться новому впечатлению с точно таким же непосредственным увлечением. Мне казалось, слушая его навязчивую речь довольно рассеянным ухом, что это как раз тот род разговора, который обыкновенно свойствен возчикам и ямщикам, проводящим большую часть дня в езде по одной и той же знакомой им дороге, в полном бездействии мысли; но, как оказалось, Филипп, по его собственным словам, был скорее домосед. «Я и теперь желал бы уже быть дома», – сказал он и, увидав дерево у дороги, он, не досказав начатой мысли, вдруг сообщил мне, что однажды видел ворону на этом дереве.

– Ворону? – переспросил я, удивленный странностью этого заявления и полагая, что я, вероятно, ослышался.

Но прежде чем он успел ответить на мой вопрос, он уже занялся чем-то другим; напряженно прислушиваясь к чему-то, склонив голову на сторону и озабоченно хмуря лоб, он довольно сильно хлопнул меня по колену, чтобы я молчал и не мешал ему. Спустя минуту он весело улыбался, покачивая головой.

– К чему вы прислушивались? – спросил я его.

– Ах, нет, ничего, теперь уже все прошло, – отозвался он и принялся погонять своего мула дикими окриками и чисто извозчичьими понуканиями, которые жутко раздавались в ущельях гор.

Я стал внимательнее разглядывать его. Он был на редкость хорошо сложен, легок, гибок и силен; у него были красивые правильные черты лица и очень большие карие глаза, красивые, но не слишком выразительные. В общем, это был юноша весьма приятной наружности, в которой я не находил никаких явных недостатков, кроме разве только смуглого цвета его кожи и известной склонности к излишнему обилию растительности, то есть волос; то и другое было

не в моем вкусе. Фраза доктора, что Филипп «детски наивен», пришла мне теперь в голову, и, глядя на него, я готов был, пожалуй, усомниться в верности этой оценки, когда явилось нечто, явно подтвердившее ее. Дорога стала спускаться под гору, в узкий, лишенный всякой растительности овраг, в глубине которого бушевал, стремительно несясь вперед, шумный горный поток. Быстрые воды этого потока оглушительно ревели и стонали, и узкое ущелье оврага буквально заполнялось этим шумом и мелкими водяными брызгами, пылью и свистом пронесившегося вместе с потоком по ущелью ветра. Вся эта дикая картина, несомненно, способна была произвести сильное впечатление, но дорога в этом месте была совершенно безопасная, хорошо огражденная каменным парапетом, и мул спокойно шагал вперед, не останавливаясь и не озираясь. Однако, к немалому моему удивлению, я заметил, что мой возница был странно бледен, и на лице его читались явные признаки страха и испуга. Рев этой горной речки был далеко не однообразен: то он как будто замирал, точно в изнеможении, то вдруг усиливался до самого бешеного порыва отчаяния и ярости или переходил в грозный вой. В тех местах, где в нее стремительно вливались горные ручьи, речка заметно вздувалась от нового притока воды, пенилась, клекотала, сжатая в своих высоких каменных берегах, и бешено билась о них, обдавая их брызгами и пеной. Я заметил, что каждый раз, когда рев реки особенно усиливался, мой молодой спутник заметно бледнел, вздрагивал и чуть не корчился. При этом мне пришла в голову мысль о шотландских поверьях относительно реки Кельнии, и я подумал, что, может быть, нечто подобное существует и здесь, в этой части Испании, и обратился к Филиппу, надеясь узнать от него что-нибудь об этих легендах или поверьях, которые, очевидно, должны были быть известны ему.

– Что с вами? – спросил я.

– Я боюсь, – ответил он.

– Чего же вы, собственно, боитесь? – продолжал я расспрашивать. – Мне кажется, что здесь дорога более безопасна, чем где-либо на всем протяжении этого пути. Там она часто протекает по самому краю обрыва, во многих местах подъемы и спуски так круты и неровны, тогда как здесь нет ничего подобного.

– А слышите, как она шумит!.. Мне страшно!.. – промолвил юноша с таким наивным ужасом в лице и в голосе, что все мои сомнения относительно его ребяческой наивности разом исчезли.

Да, действительно, это красивый юноша, или, вернее, мальчик, был настоящий ребенок по уму; его ум, как и тело, был живой, деятельный, восприимчивый и впечатлительный, но, по-видимому, он остановился на младенческой стадии своего развития, остановился, так сказать, на полпути.

И с этого момента я стал смотреть на него с известным чувством жалости и сочувствия и стал слушать его болтовню сначала снисходительно, а затем даже не без удовольствия, несмотря на всю несвязность этого детского лепета.

Около четырех часов пополудни мы перевалили через вершину горного хребта, расстались с западным его склоном, освещенным ярким солнцем, и стали спускаться по другому скату хребта, часто следуя по самому краю страшных обрывов и оврагов и медленно подвигаясь вперед под темной сенью густых лесов. Со всех сторон слышался шум падения вод, не образующих одного общего громадного потока, как там, в ущелье, где так неистово редела и клекотала река, но отдельными быстрыми ручейками, говорливыми и веселыми, падающими со скалы на скалу и торопливо сбегающими с музыкальным журчанием из долинки в долинку. Здесь настроение моего возницы разом изменилось: он заметно повеселел и даже запел громким фальцетом, с полным отсутствием всякого понятия о музыке, поминутно фальшивя и детонируя, сбиваясь с мотива и даже с гаммы, просто как Господь Бог на душу положит. И вместе с тем это странное пение выходило и мелодично, и приятно и производило странное своеобразное впечатление своей естественностью и приятностью, подобно тому, как это бывает с пением

птиц. По мере того, как начинало темнеть, я все больше и больше поддавался очарованию этого безыскусного пения, прислушиваясь к нему и ожидая наконец услышать какой-нибудь определенный ясный мотив, но, увы, ожидания мои не оправдались, и когда я спросил его, что он такое поет, он воскликнул: «О, я просто пою!» Особенно меня очаровывала его манера постоянно выкрикивать одну и ту же ноту через регулярный маленький промежуток времени и, заметьте, что это выходило вовсе не так монотонно, как бы этого можно было ожидать, и уж во всяком случае, отнюдь не неприятно; напротив, эта нота как бы дышала удивительным довольством всем окружающим и своей судьбой и всей жизнью вообще, тем довольством, каким мы в своем воображении наделяем деревья, когда на них не шелохнется листва, или же спокойно дремлющую гладь сонного пруда.

Было уже совершенно темно, когда мы наконец выехали на небольшое плато, а вскоре после того подъехали к черневшей среди мрака громаде, возвышавшейся перед нами, как черная глыба утеса, в которой я угадал «резиденцию». Здесь мой возница слез с тележки, принялся аукать и свистать весьма продолжительное время, и все безрезультатно. Но вот наконец старый, дряхлый крестьянин услышал его и, вынырнув откуда-то из мрака, подошел к нам со свечой в руке. При свете этой свечи я мог смутно различить высокий сводчатый портал в мавританском вкусе. Ворота под порталом были тяжелые, железные, кованые; в одном из створов была проделана калитка, которую отворил Филипп.

Старик крестьянин отвел тележку с мулом куда-то в надворную постройку, лежащую, по-видимому, совсем в стороне, а мы с Филиппом вошли в калитку, которую сейчас же заперли за нами. При свете свечи мы прошли по большому вымощенному плитками двору и вверх по широкой каменной лестнице, потом по открытой галерее и снова вверх по другой лестнице и наконец остановились у дверей большой и красивой комнаты, почти совершенно пустой. Эта комната, которая, очевидно, предназначалась мне, имела три громадных окна с откосами и подоконниками из какого-то драгоценного полированного дерева; на полу вместо ковра лежало много звериных шкур; яркий огонь пылал в камине и распространял кругом веселый мигающий свет. К самому огню был придвинут стол, и на нем накрыт ужин, а в дальнем конце, то есть в глубине комнаты, стояла широкая старинная кровать, приготовленная на ночь. Я был весьма доволен всеми этими приготовлениями и высказал свое удовольствие Филиппу, а он, со свойственной ему наивностью и простодушием, замеченным мною уже и раньше в нем, сейчас же принялся горячо вторить моим похвалам.

– Прекрасная комната! – восклицал он. – Превосходная комната! А огонь в камине! Хороший огонь, он так приятно согревает вас, так приятно, что косточки ваши млеют от удовольствия! А постель-то?.. Чудесная, постель!..

И он поднес к ней свечу так близко, чтобы я мог все рассмотреть.

– Видите, какие тонкие простыни, – продолжал он, – какие нежные, гладкие-гладкие!

И он проводил по ним рукой, раз и другой с видимым наслаждением; затем положил голову на подушку и стал тереться щекой о тонкие полотняные наволочки с такой сладострастной негой, что мне стало положительно неловко и даже как-то противно смотреть на это.

Я взял свечу у него из рук, опасаясь, что он как-нибудь подожжет постель, и направился к столу, на котором был приготовлен ужин. Увидев здесь бутылочку вина, я налил стаканчик к позвал его, желая предложить ему выпить со мной. Услышав мой зов, он сразу вскочил на ноги и подбежал ко мне, видимо, в надежде получить какой-нибудь лакомый кусок, как это бывает с детьми; но когда он увидел вино в стакане, он заметно содрогнулся.

– Ах, нет! – сказал он. – Нет, только не это! Это для вас. Я его ненавижу!

– Ну, что же, в таком случае, сеньор, я выпью его за ваше здоровье и за благоденствие вашего дома и всей вашей семьи, – промолвил я. – Да, кстати, – добавил я, осушив свой стакан, – могу я надеяться иметь завтра честь засвидетельствовать, сеньор, вашей матушке лично мое почтение?

Но при этих, как мне казалось, самых обычных в таких случаях словах, все, что было детского, добродушного и наивного в лице Филиппа, разом исчезло и заменилось выражением скрытности и лукавства. Одновременно с этим он попятился от меня к двери, как будто я был какой-нибудь хищный зверь, готовый наброситься на него, или какой-нибудь опасный бандит с оружием в руках. Когда он таким образом добрался до дверей, он остановился, и, бросив на меня недобрый взгляд, причем зрачки его глаз сузились, как у дикой кошки в момент коварного прыжка, он коротко и отрывисто, с несвойственной ему резкостью проговорил: «Нет!» И в тот же момент неслышно скрылся за дверью, оставив меня одного в комнате, затем я услышал его шаги, спускавшиеся с лестницы и замолкнувшие где-то внизу. Шаги легкие, благозвучные, точно капли летнего дождя. После того весь дом словно замер и погрузился в полнейшее безмолвие и тишину.

Полужинав, я оттащил столик от камина поближе к кровати и стал готовиться отойти ко сну. Но свет свечи упал теперь на стену над камином, и я остановился пораженный при виде портрета, висевшего на той стене, и которого я раньше не заметил. На этом портрете была изображена еще молодая женщина; судя по ее костюму, прическе и приятному, ласкающему глаз однотонному сочетанию мягкой гаммы красок на холсте, можно было сказать с уверенностью, что этой женщины давно уже не было в живых. Но, глядя на эту живую позу, на выражение глаз и улыбки и всего этого прелестного лица, вам невольно начинало казаться, что вы видите перед собой живую женщину, пленительный образ которой отражается перед вами в зеркале! Вся ее фигура, стройная, сильная и прекрасная, отличалась какой-то удивительной пропорциональностью; красноватые косы улеглись точно тяжелые змеи на ее красивой головке, образуя над ней как бы царскую корону и красиво оттеняя ее лилейное, гордое чело. Глаза ее, золотисто-карие, приковывали к себе мой взгляд. Я не мог оторваться от них, и вместе с тем это прекрасное лицо с изящным правильным овалом, лицо столь безупречной красоты было искажено жестокой, коварной и чувственной усмешкой. Что-то совершенно неуловимое в этом лице и в фигуре, как отзвук какого-то отдаленного эха, напоминало и лицо, и фигуру моего недавнего спутника Филиппа. Некоторое время я стоял неприятно пораженный и вместе с тем как бы прикованный к месту этим странным сходством, которому я не мог надивиться. Как видно, фамильный запас чувственности и красоты форм, некогда предназначенный для таких знатных дам, как та, что теперь смотрит на меня с портрета, в настоящее время расходовался на предметы домашнего обихода вместо тех высокохудожественных произведений искусства, для каких они первоначально предназначались. Теперь этот драгоценный материал облекался вместо шелка и бархата, драгоценных кружев и самоцветных камней в грубую куртку из самодельного крестьянского сукна, садился на облучок деревенской тележки и погонял ленивого мула, когда тот вез незваного гостя в этот знатный дом, – да и не гостя, а платного жильца.

Но, может быть, живое звено и теперь еще связывало между собой эти два столь различных существа. Может быть, остаток изнеженности и прихотливости прекрасного тела этой красавицы, знавшего лишь прикосновение самых мягчайших и нежнейших тканей, самых дорогих шелков и парчи, заставлял теперь болезненно вздрагивать бедного Филиппа при грубом прикосновении к его смуглому телу жесткого ворса деревенской сермяги.

Может, и многое другое еще из личных качеств красавицы живет в бедном Филиппе.

Первые лучи утренней зари залили своим розовым светом портрет на стене моей комнаты, а я все еще лежал без сна с широко раскрытыми глазами, устремленными на этот портрет, с все возрастающим очарованием. Красота этой женщины коварно закрадывалась мне в душу, заставляя смолкать все мои сомнения, убивая их одно за другим; и хотя я сознавал, что полюбить такую женщину значило бы все равно, что подписать свой собственный приговор и обречь сознательно свое потомство на все ужасы дегенерации, я все же был уверен, что, будь она жива, я полюбил бы ее всем своим существом. И с каждым днем сознание коварства, лживости, жестокости и развращенности этой женщины и моей собственной слабости и безволия

перед ней все росло и росло в моей душе. Вскоре она стала героиней всех моих помыслов, всех моих одиноких мечтаний и грез; ее глаза, я чувствовал, могли подвигнуть меня на какие угодно преступления и вознаградить за них с избытком. Образ этой женщины, давно уже покоившейся в могиле, наводил меня на мрачные думы, омрачал мое воображение, мысль о ней постоянно и неотступно преследовала меня. Когда я уходил из дома и находился на свежем воздухе под открытым благодатным небом Испании, когда я долго находился в движении и запасался свежими силами и здоровьем, я нередко с радостью думал о том, что моя чаровница давно умерла и спокойно лежит в своем склепе, что магический жезл ее красоты расщеплен, коварные уста ее сомкнулись навек и безмолвны, любовный напиток расплескан; и все же во мне жило какое-то смутное опасение, какой-то страх, что, быть может, она не совсем умерла, что она может восстать и воскреснуть в образе кого-нибудь из своих потомков.

Я обедал и ужинал всегда в своей комнате. Кушанье мне приносил Филипп, и сходство его с женским портретом на стене положительно преследовало меня. Временами я не видел этого сходства, его как будто не было, но вдруг один какой-нибудь оборот или мимолетное выражение на его лице, – и это сходство, точно призрак, кидалось мне в глаза. Особенно ярко проявлялось это сходство в те минуты, когда Филипп бывал зол или не в духе. Он несомненно был расположен ко мне и гордился тем, что я уделял ему некоторое внимание, которое он часто старался возбудить бесхитростными, чисто детскими выходками и приемами. Он любил подолгу сидеть подле меня перед моим камином, бессвязно по-детски болтая или распевая свои странные бесконечные песни без слов, а иногда ласково гладил рукой мое платье, точно женщина, желающая приласкать любимого человека, и эта его странная манера всегда почему-то вызывала во мне чувство неловкости и смущения, которых я потом очень стыдился. Но, несмотря на все это, он был способен иногда к почти беспричинным вспышкам гнева и приступам мрачного настроения, нередко даже прямо злобного. Так, например, при одном моем слове замечания, сделанного ему, он схватил блюдо и вывалил на пол весь мой ужин, и сделал он это не по неловкости и не нечаянно, а преднамеренно, с вызывающим видом; точно так же при малейшем намеке на какой-нибудь вопрос с моей стороны он моментально ошетинивался, если можно так выразиться. Я вовсе не был непомерно любопытен, в особенности если принять во внимание, что я находился в совершенно необычайной обстановке и среди в высшей степени странных людей, но стоило мне только заикнуться о чем-нибудь, касающемся этого дома или его обитателей, стоило только произнести слово, похожее на вопрос, как он тотчас же как будто свертывался в клубок, точно еж, настораживался и начинал глядеть зверем. Через минуту это у него проходило, но в эти моменты неотесанный, грубоватый деревенский парень до того походил на ту прекрасную знатную даму, что смотрела на него и на меня из своей почерневшей местами золотой рамы, что его можно было бы принять за ее брата. Однако эти моменты быстро проходили, и вместе с ними проходило и сходство.

В первые дни моего пребывания в резиденции я не видел никого, кроме Филиппа, если только не считать портрета на стене моей комнаты. Так как мальчик этот был, несомненно, невысоких умственных способностей и, кроме того, очень вспыльчивый и раздражительный, то можно было удивляться, что меня заставляло терпеть и выносить подле себя его неинтересное и даже опасное общество. Действительно, первое время он надоедал мне и даже иногда раздражал меня, но вскоре я приобрел над ним такую власть, что мог быть совершенно спокоен по отношению к нему.

Вышло это так. По натуре своей он был ленив и весьма склонен к бродяжничеству, а между тем он постоянно был около дома и не только прислуживал мне и заботливо ухаживал за мной, но еще, кроме того, ежедневно подолгу усердно работал в саду или огороде маленькой фермы, лежащей с южной стороны дома. Он работал здесь вместе с тем старым крестьянином, которого я видел в первую ночь моего приезда, и который жил на дальнем конце усадьбы в одной из так называемых хозяйственных надворных построек на расстоянии около полумили

от самой резиденции. Хотя старик был работник, а Филипп должен был только помогать ему, но я сразу увидел, что из них двоих большую часть работы делает Филипп. Иногда мне случалось видеть, как, наскучив работать, он кидал свою лопату и заваливался спать тут же на гряде, которую от только что вскапывал; все же его настойчивость и энергия, с которой он всегда брался за дело, возбуждали во мне удивление и невольное одобрение, тем более, что я лично сознавал, что эти качества были совершенно чужды его характеру и являлись результатом упорного насилования его природных склонностей, требовавшего постоянных усилий с его стороны. Я не мог не удивляться и не спрашивать себя, что могло породить у этого легкомысленного мальчика такое настойчивое и упорное чувство долга? Чем поддерживалось в нем это чувство долга, спрашивал я себя, и каких невероятных усилий должно это было стоить ему, и до какого предела удавалось ему побороть в себе свои природные инстинкты? Быть может, то было влияние его духовника? Но однажды, когда сюда приезжал патер, я видел с небольшого пригорка, на котором я сидел и делал наброски пейзажа, как приехал и как уехал патер, и за все это время Филипп ни на секунду не бросал своей работы в огороде, так что, вероятно, не обменялся с ним даже и парой слов.

Однажды, ради весьма неосновательных и непохвальных побуждений, я решил совратить мальчугана с доброго пути, и, перехватив его у калитки сада, куда он шел с намерением приняться за работу, я без особого труда уговорил его отправиться со мной побродить по лесу. Погода стояла прекрасная, а лес, куда мы направились, стоял такой зеленый, такой тенистый и манящий, полный аромата и веселого жужжания насекомых. Здесь Филипп показал мне себя в совершенно новом свете: он до того развеселился, что я был положительно ошеломлен этой безудержной, шумной и резвой веселостью его. При этом, резвясь, прыгая и бегая здесь в лесу, он проявлял в каждом своем движении столько грации и красоты, что я невольно восхищался им. Он скакал и прыгал, и бегал вокруг меня в детском восторге, или же вдруг останавливался и начинал прислушиваться, как будто жадно впитывая в себя весь этот аромат леса, все эти едва уловимые звуки; потом вдруг одним прыжком вскакивал на дерево с ловкостью дикой кошки и повисал на нем, кувыркался, как обезьяна, и вообще чувствовал себя там как дома. Хотя он говорил мало, и то, что он говорил, в сущности, не имело почти никакого значения, все же я могу сказать, что редко наслаждался столь приятным обществом, как именно в этот день в лесу. Глядеть на его восторженное настроение, на его непритворную радость было настоящим наслаждением; красота и проворство его движений восхищали меня до глубины души и склоняли меня даже к необдуманному и дурному намерению – ввести в обычай подобные прогулки вдвоем с этим мальчуганом, отвлекая его от его работы и от исполнения его долга. Но судьба готовила мне жестокое наказание в результате этого громадного удовольствия, и это сразу вразумило меня. Каким-то ловким способом или хитростью Филипп изловчился поймать на дереве маленькую белочку; он был в этот момент в нескольких метрах впереди меня, и я видел, как он разом соскочил с дерева и, присев на корточки, громко кричал от радости, как это часто делают дети. Этот радостный крик вызывал во мне сочувствие, столько в нем было искренности и непосредственности; но в тот момент, когда я подбежал поближе, чтобы разделить радость Филиппа, я вдруг услышал пронзительный, жалобный крик бедного маленького животного, от которого у меня невольно кольнуло в сердце. Я часто слышал и даже видел жестокость детей и мальчуганов, в особенности среди крестьянских детей, но то, что я теперь увидел, заставило меня выйти из себя от чувства возмущения и негодования. Отшвырнув парня в сторону, я вырвал у него из рук несчастное животное, и чтобы прекратить его мучения, тут же разом убил его. Затем, обернувшись к мучителю, я обрушился на него с целым градом упреков и порицаний его зверской жестокости, доказывая ему все отвратительное безобразие его поступка со всем пылом моего искреннего негодования и возмущения и награждая его такими эпитетами, от которых его, видимо, корбило. Наконец, указав ему на резиденцию, я приказал ему убираться туда немедленно и оставить меня одного, потому что я желаю гулять в обществе

человеческом, а не зверином. Тогда он упал передо мной на колени и стал молить и просить о прощении, и при этом слова его были последовательнее, речь его была значительно осмысленнее и логичнее, чем обыкновенно, и лилась рекой. В самых трогательных и искренних выражениях он умолял меня смириться, простить его и забыть то, что он сделал, и поверить ему, что в будущем это никогда более не повторится.

– О, я так стараюсь быть хорошим! – воскликнул он. – О, прошу вас, сеньор коменданте, простите на этот раз Филиппа, он никогда больше не будет жестоким и не станет зверски обращаться ни с одним живым существом.

После этого более растроганный, чем я желал это выказать, я позволил убедить себя в искренности раскаяния и добрых намерениях юноши, и в конце концов пожал ему руку и примирился с ним. Но в виде наказания я заставил его похоронить белку, и пока он это делал, я все время говорил ему о красоте этого маленького животного, о его грации, проворстве, о его жизнерадостности и о той страшной боли и муках, которые по его злой воле бедняжка должна была претерпеть, и как низко и подло вообще злоупотреблять своей физической силой.

– Вот посмотрите, Филипп, – сказал я, – вы сильный и ловкий, но в моих руках вы будете такой же беспомощный, как это несчастное маленькое существо, что жило там, на дереве. Дайте мне сюда вашу руку. Видите, я сжал ее, и вы не можете вырвать ее у меня. Ну, а подумайте, что было бы, если бы я был жесток и безжалостен, как вы, если бы я захотел причинить вам боль и страдания? Видите, я только сожму сильнее вашу руку, и это уже вызывает у вас боль и мучения.

Он громко вскрикнул, при этом лицо его исказилось и побледнело, а на лбу выступили капли пота, и когда я выпустил его руку, он кинулся на землю и стал стонать и причитать, тереть и дуть на нее и нянчить ее с жалобным хныканьем, как это делают дети, когда они ушибутся. Однако урок этот пошел ему впрок. Оттого ли, что он сам почувствовал боль, или оттого, что я ему говорил, или же потому, что теперь он был лучшего мнения о моих физических силах, но с этого времени его первоначальное расположение ко мне превратилось в какую-то собачью преданность и привязанность, близкую к обожанию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.